

Мещенат (прил. к газ. Весть) - Калуга - 2002 - 12 апр (№ 3) - с. 7

Я хочу быть понят моей страной...

«Я - поэт. Этим и интересен», - сказал о себе Маяковский в самом начале своей художественной автобиографии. Больше 70 лет, прошедших со дня его гибели, Маяковского упорно рассматривают как фигуру политическую, как революционного трибуна. Поэт в разговоре о Маяковском всегда на втором месте. Такой парадокс ничуть не выбивается из того ряда парадоксов, в которые оказалась заключена его судьба - как человеческая, жизненная, так и легендарная - посмертная.

Маяковский как поэт - величина, оказавшаяся неподъемной, угловатой, никуда не вмещающейся.

То, что Ахматова, Цветаева, Пастернак называли Маяковского главным поэтом XX века, - очень неудобно для тех, кто решил: Маяковский закончился вместе с советской властью и о нем можно благополучно забыть.

И все парадоксы сходятся в одном фокусе - в том выстреле, который прозвучал 14 апреля 1930 года в его квартире, сходясь не поправимым образом. И та поэтическая мистика, связанная с предсказанием в ранней поэме - «не поставить ли точку пули в своем конце», оказывается куда менее страшной, чем строгая реальность.

Больше всего злорадствовали эмигрантские издания, для которых Маяковский быстро выродился в теневое отражение власти большевиков. Одна из самых уважаемых газет опубликовала фото распростертого на ковре поэта, словно бы распятого, с раскинутыми руками и ногами, с широко разинутым ртом, застывшим в немом крике, с подписью: «И жизнь хороша! И жить хорошо!»

Владислав Ходасевич, один из ярчайших поэтов эмиграции, ядовито издевался над тоном прощального письма Маяковского, опубликованного в газетах, называл его «мелочным и ничтожным».

Москва хоронила Маяковского с размахом, с многотысячными толпами, помпезно и официально.

Кто-то в литературных кругах довольно потирал руки, кто-то искренне переживал. И только Сергей Эйзенштейн записывал что-то странное, отрывочное, смутное. Что письма посмертного никто не видел, что его кто-то забрал. Что тон письма какой-то одесский и юродский. И в заключение совсем странное: «Им нужно было его убрать. И они его убрали...»

Много лет спустя, уже в перестроечную эпоху, историк литературы и журналист Валентин Скорятин, десятилетия собиравший по крупицам всю информацию о тех событиях, выдвинул версию, что Маяковский был убит, застрелен человеком, ушедшим сразу после этого через черный ход, что письмо (полустершийся карандашный набросок) - подделка (письмо почему-то до 50-х годов хранилось в секретном архиве Политбюро), что в показаниях свидетелей есть странные противоречия.

Вряд ли это так. Вряд ли хладнокровный агент после того, как Вероника Полонская выбежала из комнаты Маяковского в коммунальной квартире и спустилась по лестнице, открыл дверь, выстрелил, вложил в руку поэта револьвер и подбросил письмо. Полонская, услышав выстрел, уже бежала назад. Вряд ли здесь детектив, усложненный высокой литературой...

14 апреля - годовщина
трагической гибели
Владимира МАЯКОВСКОГО



Но трагедия от этого не становится менее страшной.

В Маяковском зрела советской эпохи со всем ее величием, размахом, со всей ее кровью, жестокостью, с железом и потом нашла уникальнейшее отражение, единственное по своей художественной правде. В отличие от литературной мелочи и наклики он не хотел от советского государства ничего, кроме осмысленности своего и всеобщего существования, перемены всего и вся, некоего романтического идеала, который поэтически не конкретизировался. Маяковский мог писать агитки и конкретную злобу сатиры, но его идеал (с ним он пришел в поэзию еще до революции) был недостижим, как и любой другой идеал. Бунтарь и анархист - революционер не по убеждениям, а уже по самому темпераменту, он твердо знал - несправедливый мир нужно перевернуть. И готов был выступить на стороне любой переворачивающей силы. Пройти мимо революции он не мог, а революция не могла разминуться с ним. Он определил ее в нескольких словах точнее всех, и к этому по большому счету нечего добавить: «О звериная! О детская! О копейная! О великая!»

Он не был одинок в деле придания революции нового религиозного смысла («великая ересь социалистов»). То же ощутил Блок в «Двенадцати» - не переживший этой поэмы; совершенно другой по мировоззрению поэт, чистосердечно, никем не принуждаемый Николай Клюев писал: «Есть в Ленине керженский дух, игуменский окрик в декретах...»

Это было заблуждение и прозрение, новый этап и апокалипсис, рождение и смерть. Атмосфера пьянила и увлекала.

Но Маяковский сломал себя не тогда, когда примкнул к революции, - органичный и естественный для него поступок. Он сломал себя, когда решил стать чернорабочим ее, обезличиться, превратить поэзию из цели в средство. Он столкнулся с

неразрешимым противоречием: для того чтобы «идти в революцию дальше», необходимо было стать одним из многих. Нужен был уже не стихийный бунт, а железный порядок. И этот порядок и люди нового порядка начинали со всех сторон окружать Маяковского.

Его литературная организация, наследница футуризма, «левый фронт искусств», неудержимо срасталась с ОГПУ в лице самых неприятных представителей «ордена меченосцев революции».

Салон Лилии Брик превращался в идеологический филиал ОГПУ, здесь появился кровавый Яков Агранов, начальник секретно-политического отдела ведомства, и вслед за ним одна за другой мрачные фигуры палачей, железных спецов Лубянки.

В кармане Лилии Брик, главной любви Маяковского, также лежало удостоверение сотрудницы ОГПУ, ее муж работал там же...

К весне тридцатого года положение Маяковского в литературных кругах становилось все более непонятным. Его творческого юбилея не заметили. Самого убежденного революционера называли в газетах «попутчиком». Юбилейную выставку не посетил ни один (!) коллега по перу. Маяковский не мог не чувствовать, что вокруг него что-то затевается.

Но самым странным было даже не все перечисленное. Маяковский начинал разочаровываться. Не в революции, а в ее итогах. Осуществление гуманистического идеала откладывалось. Дальше дороги не было.

Образ «каменной глыбы», человека-гиганта был выдуман. Поэт был ранимым и неуравновешенным. Брался за дверные ручки, предвзвешенно обернув руку платком, панически боялся инфекций. Никогда не сидел с открытой форточкой, боялся сквозняков. Легкий насморк воспринимался как катастрофа. Сломать Маяковского морально на самом деле было не так уж и сложно. От последней своей любви Маяковский требо-

вал немедленно оставить мужа и переехать к нему. Вероника Полонская, еще совсем юная актриса МХАТа, такой резкой перемены в жизни испугалась. (Кстати, сразу после самоубийства Маяковского Полонская... поехала в театр. Это была ее первая роль у Немировича-Данченко. Правда, на сцене у нее случился нервный припадок.)

Ярослав Смеляков по-своему «разобрался» с причинами суицида. Ты б гудел, как трехтрубный крейсер.

в нашем общем многоголосье, но они тебя доконали, эти лили и эти оси. Не задрипанный фининспектор, не враги из чужого стана, а жужжавшие в самом ухе проститутки с осиным станом. Ты в боях бы ее истратил, а не пролил бы по дешевке, чтоб записками торговали эти траурные торговки. Как ты выстрелил прямо

в сердце, как ты слабости их поддался, тот, которого даже Горький после смерти твоей боялся?

Стихотворение было запрещено за... антисемитизм и при жизни Смелякова не печаталось.

Строчка о торговле записками не выдумана. Многие личные документы, связанные с Маяковским, ушли из страны вместе с архивом Лилии Брик. В свою очередь она в завещании датой открытия основной части архива назвала... 2015 год.

Маяковский остается тайной за семью печатями. Постсоветской критикой он был осужден за то, что не подлежит осуждению, - за свою выстраданную веру. Впрочем, от этой эпохи трудно было ждать понимания. Может быть, оно в будущем.

Я хочу быть понят
моей страной.
Не поймут меня,
ну и что ж?
По своей стране
я пройду стороной,
как проходит косой
дождь.

Александр МЫЗНИКОВ.

№ 3 (42)
12 апреля
2002 г.

Намне всё

Маяковский Владимир
Владимир Маяковский

12.4.02